

О Валерийском Султанате

Записано на пятнадцатый день месяца кислого меда, в 1598 году от Исхода Эльфов

В земли Султаната я вступал с юго-востока, через Гирсфорд — город, который некогда звался Вратами Федерации в Соротуле, а ныне стоит пограничем между ним и пустыней. Сотня лет, прошедшая с Падения Иезекиля, неузнаваемо изменила здешние края: пустыня разрослась, подступила к окраинам Гирсфорда, и теперь песок лижет старые камни с той же неумолимостью, с какой море точит скалы. Сам город глядит на это соседство с мрачноватым достоинством — он стоит на берегу озера, в которое когда-то впадала Закарийя, и теперь питается водой от другой реки, словно бы отвернувшись от умершего русла.

В Гирсфорде я остановился на ночлег в таверне под названием «Сухая Пристань», где и встретил Марата — караванщика, собиравшегося вести обоз в Зар-Хамад. У него было обветренное лицо и спокойные глаза человека, привыкшего к опасности, а в носу поблёскивало тонкое золотое кольцо — отличительный знак караванного братства, по которому своих узнают в любом городе Султаната. Он выслушал мои расспросы о пустыне, хмыкнул и предложил идти вместе: «Одному тут не след, писец. Пески чужих не любят». Я согласился без колебаний.

Ранним утром мы покинули Гирсфорд, преодолели пограничную заставу и двинулись по территориям Султаната вдоль Закарийи — иссохшей реки, чьё дно ещё хранит форму течения, но само течение ушло так давно, что даже дух воды, кажется, покинул это место. Русло служило нам дорогой первые два дня, и по мере продвижения на северо-запад мир вокруг менялся медленно, как гаснет свет в закатный час. Сперва ещё попадались островки сухой травы и низкие кустарники, цепляющиеся корнями за потрескавшуюся глину; потом и они исчезли, уступив пространство песку цвета старой слоновой кости. Горизонт колебался в мареве, и воздух становился всё суше, всё тише, пока тишина эта не сделалась почти осязаемой — плотной, точно натянутый шёлк.



Я шёл и чувствовал, как нарастает магический фон. Мало-помалу он просачивался в воздух, густел, делался липким, словно патока. В таких местах заклинание — не инструмент, а искра в амбаре с сухим зерном. Оно взорвётся, и на этот взрыв сбежится всё, что прячется в глубине пустыни. Звероморфы, флороморфы, даже аномалии, которым нет названия, — все они здесь чувствуют магию так же остро, как акула чувствует кровь в воде. Я запомнил это ощущение с первого дня — и дал себе слово не колдовать без крайней необходимости.

Караван наш использовал в качестве рухов — так здесь называют любое существо, способное нести груз через пустыню, — огромных ящеров с песочно-серой, местами оранжевой чешуёй и одну невероятно терпеливую змею, чья голова возвышалась над поклажей на добрых два метра. Понятие «рух» у валерийцев само по себе поэзия: оно вмещает в себя всё, на чём можно пересечь пустыню и остаться в живых. На привале, у костра, Марат рассказывал мне легенду о птице Рух — крылатом рухе, которого ищет каждый караванщик, но не находил ещё никто. «Говорят, кто оседлает Руха — тот увидит пустыню сверху и поймёт её, — сказал он, помешивая угли. — А кто поймёт — тому она перестанет быть врагом». Я слушал и записывал; в таких историях часто прячется больше истины, чем в хрониках. *Vael'ir torren, sael'mor itharen* — «Нет легенды, в которой не было бы доли правды». Отцовская поговорка снова к месту.

Пустыня раскрывала себя постепенно. Иногда на горизонте поднимались невысокие карстовые горы, изъеденные временем; иногда попадались каменистые плато с редкой, болезненно-фиолетовой растительностью — Марат, наш старший, предупредил, что одна такая колючка способна усыпить взрослого руха. Оазисы, которые мерещились вдали дрожащей зеленью, мы обходили стороной: в этих землях красивое — почти всегда смертельно, и источники воды часто окружены хищной жизнью куда плотнее, чем кажется. Всё это я впитывал с любопытством, шагая по руслу мёртвой реки, и Закарийя вела нас всё дальше к городу, которого я ещё не видел, но уже начинал чувствовать.

*Мандаринка.
Так ласково называл
этого руха его владелец
рух был красивого оранжевого оттенка,
который, к сожалению,
не удалось запечатлеть*

Зар-Хамад показался на рассвете третьего дня — сперва сторожевые башни, потом стены из белого песчаника, светящиеся в первых лучах солнца. Над главными воротами, выходящими на караванный тракт, выбита восьмиконечная звезда с глазом в центре — знак Мастары. Глаз смотрит пристально и, кажется, без угрозы, но с обещанием: здесь видят каждого. На башне у входа стоял жрец в серых одеждах с фиолетовой каймой — цвет турмалина, священного камня богини. Когда караван поравнялся с воротами, жрец поднял руку, и Марат остановил головного руха. Короткий разговор — кто мы, что везём — был скорее ритуалом, чем допросом. Жрец говорил тихо, но каждое его слово звучало отчётливо, как треск печати. Мне он задал только один вопрос: «Несешь ли ты магию, путник?» Я ответил, что я писец и везу только книгу и память, и он кивнул, пропуская меня. Позже я узнал, что такие жрецы встречают каждого прибывшего — решая, кому можно войти, и предупреждая о том, что происходит в городе. Сегодня, по его словам, в городе было спокойно. Спокойствие здесь — ценность, которую научились беречь.

Внутри стен Зар-Хамад оказался светлым и неожиданно тихим. Улицы мостили белым песчаником, отчего даже в полуденный зной город не казался душным; камень отражал солнце, и воздух дрожал над мостовыми золотистой рябью. Дома — плоские крыши, узкие окна, аркады во внутренние дворы — лепились друг к другу, создавая тень и уединение. Пахло пряностями, сухим мясом и чем-то цветочным — хризантемой, как я узнал позднее; этот запах сопровождал меня весь день. Хризантема и турмалин — два символа Мастары, неразлучные, как свет и тень. Цветок напоминает о знании, которое цветёт даже среди песков; камень — о силе, которая не карает, но сдерживает.

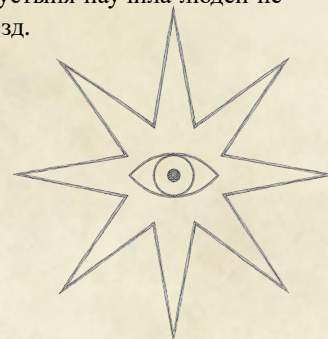


знак Мастары
на воротах города

Я нашёл ночлег в караван-сараях и первым делом уединился в отведённой мне комнатке — тесной, но чистой, с узким окном под самым потолком. Переход через пустыню вымотал меня не столько тяжестью пути, сколько песком. Он был повсюду. В складках одежды, в волосах, в книге — я потом ещё долго вытряхивал его из страниц, — и даже, кажется, в мыслях. Валерийцы моются редко и скупое: воды в городах мало, и каждая капля на счету. Я это понимал разумом, но тело мое, привыкшее к иным обычаям, протестовало глухо и настойчиво. В конце концов, оставшись один и плотно задернув занавеску, я не удержался. Пара тихих фокусов, почти беззвучных, — и песок осыпался с меня серой пылью, а кожа вновь обрела способность дышать. В городе защита Мастары держит пустыню в узде, магия не вспыхнет и не привлечёт лишнего внимания. А жрецы у ворот, думаю, не узнают об этой маленькой слабости. В конце концов, я обещал им не колдовать — но ничего не говорил о чистоплотности. Магия здесь под запретом для всех, кроме жрецов Мастары, и жрецы следят за этим строго. Мне рассказали о турмалиновой тюрьме — камере под храмом, в которой лежит крошечный, с ноготь величиной, кристалл, источающий такой плотный магический фон, что даже сильный чародей не может сплести в ней заклинание. Одного маленького осколка хватает, чтобы запереть магию наглухо. Я думал об этом, сидя в караван-сараях и глядя, как в окно льётся фиолетовый отсвет заката — того же оттенка, что и турмалин.

Позже, спускаясь в общий зал, я проходил мимо лестницы, где двое караванщиков вполголоса обсуждали что-то своё. Они смолкли, едва заслышав шаги, но прежде чем голос стих до шёпота, до меня долетело: «...Саван Абд Аль-Карим...» — а следом слово, похожее на «северный тракт» или что-то в этом роде. Я тогда не придал значения. Мало ли имён звучит в караван-сараях.

Вечером караванщики собрались в общем зале, и я снова слушал Марата. Он рассказывал, что караванщики молятся и Мастаре, и Барруславу — богу торговли, чей редкий храм в Зар-Хамаде отделан тонкими полосами золота по белому песчанику, — и не видят в этом противоречия. «Мастара хранит нас в пути, — говорил он, разливая отвар, — а Барруслав заботится, чтобы в конце пути было на что купить новый путь. Без одного не бывает другого». Я спросил его о других богах, и он перечислил их буднично, как перечисляют дальних родственников: Морр и Вита, Двуетный, который встречает мёртвых и провожает живых; Арт, что держит молот над каждым ремеслом, и другие, помельче. Молитвы здесь не враждуют. Пустыня научила людей не тратить силы на распри из-за звезд.



На следующее утро я отправился на рыночную площадь — и она встретила меня шумом, густым, как пряный дым. Здесь, за городскими стенами, жизнь кипела совсем иначе, чем в пустыне: с криками зывал, с детским смехом, со скрипом телег и звоном монет. Торговали всем, что только можно вообразить. В одном углу площади продавали рухов — молодых ящериц, пару верблюдов и гигантского жука, которых покупатель осматривал так же придирчиво, как в других странах осматривают лошадей. В другом крае высились горы апельсинов, ярких, точно маленькие солнца, и я невольно задумался: где они растут? Среди песков апельсиновым рощам взяться неоткуда. Позже Марат обмолвился, что в городах есть оранжереи, но найти их мне так и не удалось — как я ни старался. Зар-Хамад умеет хранить секреты.

Я уже собирался двинуться дальше, когда заметил у одного из прилавков двоих. Они не походили на обычных покупателей — ни мешков, ни корзин, ни рассеянного взгляда, каким горожане скользят по товарам. Скорее наёмники: крепкие, с оружием на поясе, в добротной, но неброской одежде. Они о чём-то тихо говорили с торговцем, и тот отвечал им без улыбки, коротко и, кажется, без обычного базарного красноречия. Руки его лежали на прилавке неподвижно, а товар перед ним был разложен скупно — несколько амулетов, связка сушёных трав, что-то завернутое в тёмную ткань. Я не разобрал слов, но вся сцена отчего-то отдавала не торговлей, а расчётом. «Либо местный султан трясёт налоги так жёстко, что бедолаге понадобилась личная стража, — подумал я, — либо кто-то иной взял на себя заботу о его безопасности». Второе мне показалось вероятнее, но я не стал задерживаться, чтобы проверить.

Пряности лежали на прилавках разноцветными холмами — шафран, кардамон, сушёный перец, — а рядом с ними продавали валерийский шоколад, тёмный и маслянистый, ломающийся в руках с тихим хрустом. Удивительно, но на жарком Солнце он не таял. Я попробовал кусочек и понял, почему за границей его ценят так высоко: он отдавал чем-то цветочным и чуть солоноватым, словно вобрал в себя вкус самой пустыни. Тут же торговали зерном, козами, тканью, сладостями в меду — рынок был живым, жадным до жизни, и на мгновение я забыл, что нахожусь в сердце земли, которая ещё сто лет назад была выжжена войной.



В дальнем ряду я заметил прилавки с магическими предметами. Мелкие амулеты, защитные обереги, шары-светильники — слабые вещи, на которые пустыня не отзывается. Продавец, молодой парень с быстрыми глазами, охотно показывал товар: тут были и камни удачи, и зелья лечения, и даже пара сумок хранения. Я перебирал их в руках — неплохая работа, хотя и на мой вкус многовато лишнего — и ловил себя на мысли, что многие мои рунные заготовки здесь, увы, бесполезны. Точнее — опасны. Любая магия, проведенная через руну, могла бы вспыхнуть слишком ярко и привлечь то, что лучше не привлекать. Жаль. Я привык полагаться на свою книгу, но пустыня диктует свои правила — и требует лёгкости. Иногда мудрость не в том, чтобы нести с собой всё, а в том, чтобы оставить лишнее у ворот.

Вернувшись с рынка, я ещё долго бродил по улицам, пытаюсь уловить незримое устройство здешней жизни. Власть местного султана в Зар-Хамаде чувствовалась. Она проявлялась в мелочах: в том, как чисто выметены мостовые перед дворцовым кварталом; в том, как вытягиваются в струнку стражники у дверей совета; в том, как чеканят монету с профилем нынешнего правителя города и восьмиконечной звездой на обороте. Над главной площадью висит штандарт с гербом города: серебряная башня на песочно-золотом поле, а по кайме — хризантемы, вплетённые в узор тонкой данью Мастаре. По вечерам штандарт подсвечивают масляными лампадами, и башня, кажется, проступает из ткани, как мираж. Всё это знаки присутствия, и горожане относятся к ним с привычным почтением. Однако чем дольше я наблюдал, тем отчётливей понимал: султан здесь не владыка в привычном смысле слова. Он — управленец, нанятый городом, и его кресло стоит на перекрёстке интересов куда более могущественных сил, чем он сам.

Жрецы Мастары, Адамантова Десница, купеческие гильдии, часто представленные храмами Барруслава и ещё полдюжины объединений, чьи названия я пока не выучил, — все они держат руку на пульсе города, и султан вынужден лавировать между ними, как рух между барханов. Он не передаёт власть по наследству — здесь нет династий. Когда прежний султан умирает или уходит, совет влиятельных людей города выбирает нового, и выбор этот, как мне рассказывали, редко обходится без споров. Я слушал и думал: если правителя выбирают те, у кого деньги, стража и доступ к турмалину, то чья власть на самом деле стоит за троном?

*Все эти рюшки, орнаменты,
они на самом деле не нужны.
Я предпочитаю более
сдержанные вещи*

И ещё я думал о караванщиках. Формально они не правят. Но попробуйте представить Зар-Хамад без караванов — и вы увидите город, задохнувшийся за месяц. Это они решают, дойдёт ли зерно до Мир-Захима, пересечёт ли шёлк пустыню, доберутся ли лекарства до оазисных поселений. Без них вера в Мастару осталась бы красивой легендой, запертой в храмах, а города-государства превратились бы в острова, отрезанные друг от друга. Жрецы хранят знание и безопасность в стенах — но караванщики несут жизнь между стен. Они кровь Султаната, и кровь эта течёт без выходных.

Я так и не пришёл к окончательному выводу, кто же правит этой землёй. Может быть, пустыня. Может быть, богиня. А может быть, никто — и в этом зыбком равновесии кроется, как мне кажется, главная особенность Валерийского Султаната.

Позже, сидя на плоской крыше караван-сарая и глядя на засыпающий город, я поймал себя на мысли — весьма горькой, стоит признать. Некогда Мастара была богиней магии, и маги, взращённые под её оком, отреклись от неё. Они сочли себя выше богов, а людей без дара — за скот. Они пали. И теперь, сто лет спустя, обычные люди вновь приняли её — перерождённую, ставшую богиней пустыни и знания — и боятся магии, как огня.

В этом есть глубокая ирония: магия никуда не исчезла, её просто заперли в храмах, как монстра в клетке, и ключ доверили жрецам. А пустыня, рождённая магической катастрофой, тихо поглощает руины старого мира — терпеливо, как море, которому некуда спешить.

На третий день моего пребывания я стал свидетелем ритуального танца Цветка и Клинка. Его исполняли две жрицы Мастары во внутреннем дворе храма, куда пускали немногих, — мне посчастливилось попасть благодаря рекомендации Марата. Танец этот предвещал отправление большого каравана на север, к Мир-Захиму, и должен был испросить благословения пустыни.

Я смотрел, как жрицы двигаются — одна с хризантемой, другая с коротким изогнутым клинком, — и не мог отвести взгляда. Цветок и сталь, знание и опасность, жизнь и смерть: движения были медленными, текучими, словно песок пересыпался из ладони в ладонь. Музыки не было — только тихий ритм, который отбивали босыми ногами о каменные плиты. Когда танец закончился, одна из жриц улыбнулась мне и сказала: «Пустыня видит тебя, писец». Я поклонился. Не каждый день тебя замечает не только богиня, но и сама земля.

Я покинул Зар-Хамад на четвёртый день, вместе с тем же караваном, что уходил на север. Позади остался белый город, его тихие улицы и запах хризантем, впереди лежала пустыня.



О пустынных и событиях между Абд-Азизом и Монсуром

Записано во второй декаде моего пребывания в Султанате

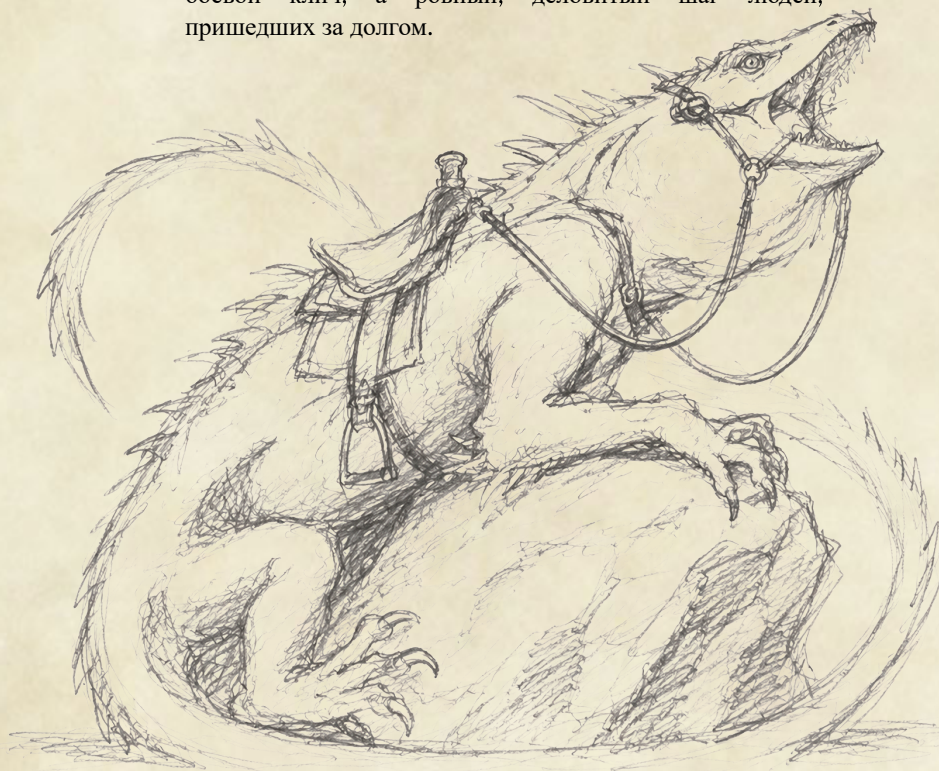
Дорога от Абд-Азиза до Монсура неблизкая, и вечерами у костра Марат рассказывал мне о тех, кто живёт в глубине пустыни. Не о звероморфах — те твари бессловесные и опасные, — а о дикарях, как их здесь называют. Он говорил, что в самых суровых уголках песков, где не ступала нога караванщика уже много лет, обитают разумные существа — табакси, локсодоны, изредка леонины или кенку, а порой и вовсе люди, полуорки, полуэльфы. Как они выживают там, где даже воздух хочет тебя убить — загадка. Но Марат утверждал, что они чтят духов пустыни как богов, и духи, кажется, отвечают им взаимностью — или, по крайней мере, терпят их присутствие. Я слушал с интересом. В конце концов, мой отец часто повторял, что духи — не друзья и не враги, а собеседники, и кто сумеет выстроить разговор, тот найдёт способ жить даже в самом непригодном для жизни месте.

На пятый день пути произошло то, о чём Марат предупреждал меня ещё в Гирсфорде. Ближе к полудню, когда караван растянулся вдоль старого русла, из-за бархана выметнулась группа всадников на тощих, злых рухах — помеси ящерицы и варана, низких и невероятно быстрых. Разбойники. С десятков, может, чуть больше. Лица замотаны тканью по самые глаза, в руках — кривые клинки, у двоих — луки. Они ударили сбоку, целясь в середину обоза, где везли зерно и ткани. Я уже потянулся было к книге — но рука замерла, не дойдя до страницы. Караванщики справились сами, и справились раньше, чем я успел бы решить, какую руну активировать без вреда для окружающих.

Это не были торговцы, отбивающиеся дрекольем. Марат и его люди двигались слаженно — как те, кто делал это уже много раз. Трое тут же сомкнули строй вокруг головного руха, перекрывая подход к грузу; двое других, с короткими копьями, встретили нападавших на скаку; лучник каравана, немолодой уже человек с трубкой в зубах, снял двоих прежде, чем те успели приблизиться. Сам Марат даже не поднялся с места — он сидел на своём рухе, держа в руке арбалет, но так и не выстрелил. Бой длился не больше нескольких минут. Разбойники, потеряв троих, откатились обратно за бархан и растворились в мареве, оставив на песке только кровь и одного мёртвого варана. Караван потерял в этой стычке лишь силы и чуть меньше литра крови. После прибытия в городе от ран не останется и следа. Жрецы Мастары, как сказал Марат, мелкие раны караванщиков лечат без платы.

Позже, когда мы двинулись дальше и пыль улеглась, я спросил Марата, стоит ли опасаться повторного нападения. Он покачал головой. «Нет, писец. Эти уже не вернутся. А если кто из их шайки уцелел — так ненадолго. Весть о том, что на этом Пути пролилась кровь караванщика, разойдётся быстро. И тогда сюда придёт братство. Не мы, — он кивнул в сторону Зар-Хамада, — так другие. Караванщик караванщику брат, и за брата здесь спрашивают строго». Я не сомневался в его словах. В пустыне выживают не одиночки, а те, кто держится вместе, и братство караванщиков доказало это задолго до того, как я впервые пересёк Закарийю. Разбойникам в этих песках больше не жить. Они ещё просто не знают об этом. Но узнают, когда на горизонте появятся силуэты рухов и молчание пустыни нарушит не боевой клич, а ровный, деловитый шаг людей, пришедших за долгом.

Искорка
Рухи, кстати, тоже
умеют сражаться.
Искорка дыхла огнем
на разбойников и была
собой очень довольна



Об Аль-Хашиме и об озере Баб-аль-Джахим, к западу от Ильяс

Записано на шестой день месяца гудящих гор

Местные называют ее Аль-Хашим — Непрístupная Чаша. Для себя я отметил ее как Loth'en'vel — Чрево Леса. На древнеэльфийском это звучит почти как колыбельная. Но колыбель эта мертва уже сто лет.

Я стоял на краю и смотрел вниз. Триста метров — не так уж много, если мерить шагами, но достаточно, чтобы мир разломился надвое. Позади осталась пустыня: песок, сухой ветер, марево. А впереди, на одном уровне с моими глазами, тянулись вершины Материнских Древ — исполинских остовов, чей рост достигал, километра, когда они ещё были живы. Теперь это скелеты. Одни сломаны, будто громом, другие опалены дочерна, третьи просто мертвы — и на их мёртвых плечах разрослось нечто, что уступает им в высоте, но превосходит в жадности. Джунгли. Густые, влажные, хищные. Сверху они кажутся почти мирными — зелёное одеяло, — но я знаю, что под этим одеялом шевелится.

Воздух здесь иной. С края обрыва в лицо тянет не сухостью пустыни, а сыростью, густой и тёплой, как дыхание больного. Пахнет гнилью, сладковатой и настойчивой, и ещё чем-то металлическим — магией, просочившейся в соки растений. В Аль-Хашиме всё живое пропитано ею насквозь, от корней до колючек, и потому каждое дерево, каждая лиана — потенциальный враг. Не звероморф, так флороморф; не коготь, так шип.

В центре этой низины, там, где когда-то стояло величайшее из Материнских Древ, ныне лежит озеро. Баб-аль-Джахим — Врата Преисподней. Язык местных жителей, как всегда, груб и честен. Именно сюда, в самое сердце Великого Леса, сто лет назад рухнул Иезекииль. Я знаю эту историю не по слухам: демон пал здесь, сражённый Торном, Эксом и Хеймдалем. И если первые два имени принадлежат известным всему миру богам, то третье... третье заслуживает отдельной строки.

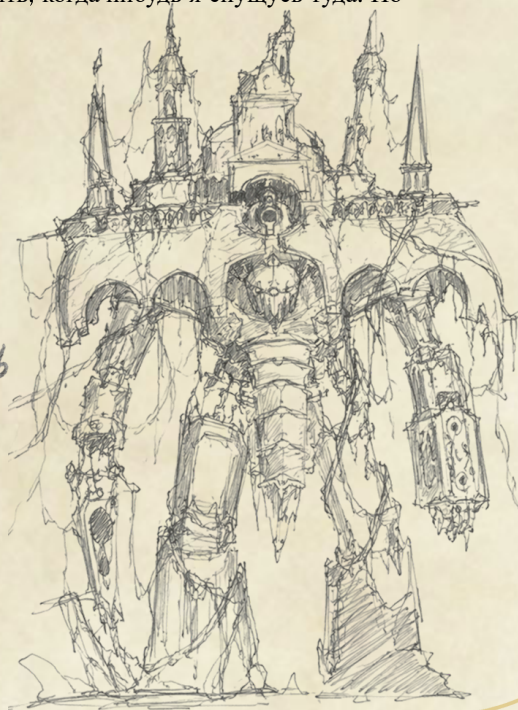
Хеймдаль. Гигантский конструктор, плод больной фантазии Дантонских воинов и Соротульских инженеров. Я видел его чертежи — и до сих пор не могу решить, чем был этот проект: гениальностью или кошунством. Механизм оказался удивительно эффективен. Но при этом он не уважал ровно ничего — ни духов, ни природу, ни самих богов, силу которых впрягли в металл, как вола в ярмо. Он был создан, чтобы убить — и убил. А потом умер сам.

Где-то там, внизу, возможно на самом краю озера, а может — уже в его глубинах, до сих пор стоит его остов. Оплавленный. Мёртвый. Уже давно мёртвый. Я не видел его с обрыва: слишком далеко, слишком густы джунгли, слишком плотен туман над водой. Но говорят, металлы, из которых был собран Хеймдаль, изменились. Пролежав сто лет в астральном разломе, они стали чем-то иным. Чем-то, что крепче адаманта. Легче мифриллы. Идеальный материал — для оружия, для доспеха, для амбиций. И меня охватывает грусть, когда я думаю об этом. Грусть — и тихая, бессильная злость.

Потому что человеческая жадность, я знаю, уже точит зубы. Всегда найдётся тот, кто захочет добраться до остова. Всегда найдутся те, кто снарядит отряд и спустится в Аль-Хашим, вооружившись картами, амулетами и надеждой. И многие из них не вернуться. Никто не считал и не сосчитает, сколько искателей сгнуло в Непрístupной Чаше за эти сто лет — но я подозреваю, что счёт идёт на сотни. Может, на тысячи. Пески хорошо хранят тайны, а джунгли — ещё лучше. Ильяс стоит прямо над этим. Самый западный город Султаната — и по сути ворота в Аль-Хашим. Дальше только обрыв, а за ним — зелёная бездна. Город живёт походами в джунгли: звероморфы, магическая древесина, кость, сухожилия, редкие металлические самородки — всё это добывается здесь и уходит караванами на восток, в сердце Султаната. Но плата за богатство взимается исправно. Кровью. Каждый ильясец знает кого-то, кто ушёл в Чашу и не вышел. И каждый вечер, когда ворота закрывают, а на улицах воцаряется та особая тишина, какая бывает лишь в городах, где ночь — не время, а угроза, я думаю об одном и том же. Аль-Хашим не прощает жадности. Он берёт своё. И Хеймдаль, мёртвый исполин в самом сердце разлома, наверное, так и будет стоять там — памятником не только великой битве, но и великой глупости, которая всякий раз заставляет людей верить, что уж они-то вернуться. Обязательно вернуться. С металлом, который крепче адаманта.

Я простоял на краю до сумерек. В Ильясе закрыли ворота. Над Баб-аль-Джахим поднимался туман — или не туман, а что-то белёсое, подсвеченное изнутри, — и я поймал себя на мысли, что разлом в Астрал не зарастает просто так. Что Великий Лес не умер. Он превратился. И превращение это ещё не закончилось. В книгу я занёс немного, но в том числе: «Аль-Хашим — не для одиночек». Может быть, когда-нибудь я спущусь туда. Но не сегодня.

думаю,
как-то
так
Хеймдаль
должен
сейчас
выглядеть



О мёртвом городе Сами-Фуркан и Трещине, к югу от Биньямина

Записано на двадцать восьмой день месяца гудящих гор

К северу от Монсура караванный путь раздваивается, точно язык змеи. Одна дорога уходит прямо — на север, в сторону Иштара, к городу Захир-Хади, что после Падения Иезекиля отошёл Иштарской Империи и теперь носит чужие знамёна. Вторая — забирает к востоку, огибаёт карстовые горы и, стиснутая ими, ползёт дальше на север, к Биньямину. Я выбрал вторую из любопытства: восточный тракт сулил меньше чужих глаз и больше тишины. А ещё там лежал Сами-Фуркан.

Дорога к Биньямину — точно трещина в камне, в которую втиснулся целый мир. Карстовые горы обступают её с обеих сторон — невысокие, изъеденные временем, серые в полуденном свете и сиреневые на закате. Они образуют естественный карман, в котором городок прячется от пустыни, как зверёк от ястреба. Воздух здесь иной — менее сухой, с привкусом известковой пыли и слабым, едва уловимым запахом мёртвого дерева. С запада, аккуратно посередине между путём на Захир-Хади и дорогой к Биньямину, темнеет лес. Аль-Маййит — так называют его местные. Мёртвый Лес. Издалека он кажется скопищем обугленных колонн, но чем ближе подходишь, тем яснее проступают очертания стволов — скрюченных, словно в агонии, и совершенно лишённых листьев. Я видел его духа. Он был под стать самому лесу — мёртвый, тихий, злой, яростно охраняющий свою территорию. Ни шёпота, ни движения, только плотное, как камень, ощущение: не входи. Я и не стал.

В Биньямин я прибыл вечером. Городок невелик — несколько улиц, караван-сарай, храм Мастары и стена из всё того же белого песчаника на восточном краю, за которой начинается дорога в Торн. Некогда здесь кипела жизнь: Биньямин был последним живым форпостом перед Сами-Фурканом, крепостью-городом, охранявшим границу Федерации. Теперь Сами-Фуркан мёртв. Пустыня пожирает его медленно, но неотвратно: песок заносит мостовые, забивается в окна, ложится в трещины камней, как время ложится в морщины старика.

Мне повезло. В Биньямине стоял отряд Адамантовой Десницы, готовивший вылазку в руины за магическими материалами. Я представился писцом и летописцем — набившая оскомину, но надёжная маска — обронил несколько фраз, намекнул, что знаю, где могут лежать старые хранилища, и они взяли меня с собой. Я каждый раз удивляюсь, как легко это выходит. Пара правильных слов, спокойный взгляд, и вот я уже иду в сердце мёртвого города под защитой паладинов. Любопытно. Люди, кажется, хотят верить, что старый писарь с книгой — не более чем старый писарь. Так удобно.

Сами-Фуркан встретил нас молчанием. Улицы его были прямы и широки — наследие Федерации, привыкшей к размаху, — но теперь по ним гулял только песок. Дома стояли с выбитыми окнами, кое-где обвалились крыши, а на стенах ещё держалась старая штукатурка цвета охры, исцарапанная временем и когтями. Здесь всё ещё чувствовалась магия — та, что пропитала камни за столетия существования Федерации. Она не была враждебной, но была... беспокойной, точно эхо давно сказанного слова, которое не может улечься. Я заметил несколько магических кругов, выложенных в мостовых, — старых, ещё довоенных, — и они слабо мерцали в сумерках. Паладины обходили их стороной. Правильно делали.

Мы искали материалы. Сами-Фуркан — кладёз для тех, у кого хватает отваги или глупости сюда соваться. В подвалах и уцелевших башнях, говорят, до сих пор лежат артефакты Федерации: амулеты, жезлы, книги формул, флаконы с эссенциями, металлы, пропитанные магией. Иные из них — просто ценность, иные — оружие, а иные — такое, что лучше не трогать вовсе. Я помог отряду парой советов — где, по моим прикидкам, могли быть склады, — и размышлял о том, сколько опасного наследства оставила после себя Федерация и сколько ещё его предстоит выгрести. Века пройдут, а всё не управятся.

Пока мы продвигались через центральную площадь, из-за остова рухнувшей башни выбрался голем. Старый, боевой, работы времен федерации — грубый металл, тускло мерцающие в швах магические жилы. Он двигался рывками, но целенаправленно: видимо, сторожевые чары не выветрились за сто лет и признали в нас нарушителей. Паладины среагировали мгновенно. Командир выкрикнул приказ, и вокруг передней шеренги расцвели мерцающие поля щитов — магия, хоть и всего первого круга силы. В следующий миг командир прочитал какое-то заклинание, которое, казалось бы, не сработало вовсе — ни луча, ни вспышки, — однако следующий его удар по голему, когда тот приблизился, вспыхнул с такой яркостью, что я на миг зажмурил глаза. Голем был явно дезориентирован, его повело в сторону, и в эту заминку ударили остальные — мечами, молотами, заклинаниями. Сражение длилось недолго, но было шумно и жестоко: металл крошился, искры летели в сухой воздух, кто-то из паладинов упал на одно колено — тут же поднялся, излеченный товарищем. Когда всё кончилось, на мостовой осталась груда оплавленного железа, а у людей — ни одной серьёзной раны.

На привале, когда мы отошли к относительно целому зданию и развели костёр, я спросил командира — как им позволено колдовать в этих землях, где магия под запретом. Он ответил коротко: перед выходом они получили благословение Ока Мастары в Биньямине, особое разрешение на применение магии в мёртвом городе. «Без него сюда лучше не соваться», — добавил он и кивнул в сторону площади, где остался лежать голем.

Я смотрел на пламя костра и думал: а так ли строг запрет, как мне расписывал Марат? Он, конечно, караванщик — ему в пустыне колдовать нельзя ни под каким видом, это понятно. Но здесь, в городе? Получается, что на магию можно получить благословение. Можно купить его за долю добычи? Или заплатить щедрым пожертвованием храму? Или же Око Мастары само выбирает, кому дать разрешение, а кому нет, и паладины честно прошли этот отбор? Я не знал ответа. И чем дольше я размышлял, тем любопытнее становилась другая деталь: Адамантова Десница — насколько я знаю, это орден Всеотца, а не Мастары. Они служат другому богу. И всё же получают благословение здесь, в твердыне богини Пустыни. Это не просто разрешение — это жест. Сотрудничество двух культов, которые, вообще-то, не обязаны ладить.

Тут до меня донёсся обрывок разговора двоих паладинов, сидевших поодаль. Один, помешивая угли, сказал негромко: «...Аль-Карим не подвёл, правильно навёл, тут и правда было чем пожить». Второй кивнул. Говорили они без опаски, но вполголоса, и моё присутствие, видимо, не считали помехой. Я не подавал виду, что услышал. Мысль о том, что это имя я уже встречал раньше — там, на лестнице караван-сарая, — кольнула и погасла. Мало ли кто помогает паладинам? Может быть, обычный проводник. А может, и нет.

Я ничего не стал спрашивать у командира во второй раз. Такие вопросы не задают на привале уставшим людям, только что пережившим бой. Но в книгу я внёс короткую пометку: «Спросить при случае, как именно выдаётся благословение Ока. Деньги? Испытание? Божественная воля? И давно ли Всеотец и Мастара работают сообща». И чуть ниже, отдельной строкой: «Аль-Карим — во второй раз. Совпадение?» Сам же город ещё раз подтвердил моё давнее подозрение: в Султанате всё устроено сложнее, чем говорят караванщики. И магия здесь под запретом — ровно до тех пор, пока кому-то не понадобится сделать исключение.

Сами-Фуркан стоит на плоскогорье, и с восточного его края открывается вид, от которого захватывает дух даже у меня. Далеко впереди, километрах в тридцати, земля обрывается разом, точно рассечённая гигантским клинком. Трещина. Она тянется с севера на юг, насколько хватает глаз, и уходит на многие сотни метров вниз, в темноту, которую не берут ни солнце, ни магический свет. Образовалась она сотни лет назад — во времена Войны Раскола, когда Белл, бог Войны, сошёл здесь в битве с самой Мастарой, тогда ещё богиней магии. Они бились за независимость этих земель — тогда ещё не Султаната, а Федерации магов. Белл пал. Мастара была

разбита на множество осколков. И маги Федерации, в своей беспримерной гордыне, не удосужились собрать её воедино. Им, видите ли, было недосуг. Теперь мы имеем то, что имеем: пустыню, Аль-Хашим, запрет на магию и богиню, переродившуюся из обломков. А трещина осталась — как шрам на теле земли, как напоминание о том, во что обходится гордость.

Я стоял и смотрел туда долго. Оттуда сквозило магическим фоном, тягучим и неровным, как дыхание спящего гиганта. Я не возьмусь судить, какой он там силы — слишком далеко, слишком искажено пространство между нами, — но воздух дрожал даже здесь, на плоскогорье. Думаю, вряд ли бы даже Нико туда полез. Мысль эта пришла неожиданно и задержалась дольше, чем следовало. Нико, будь он здесь, наверняка бы хмыкнул, прищурился и заявил, что я старею и становлюсь осторожным до трусости. А потом, я думаю, всё-таки не полез бы. Потому что при всём своём ураганном безрассудстве он отнюдь не глупец. И если уж даже ему расхотелось бы испытывать судьбу — значит, место и впрямь того стоит. Я давно не видел Нико. Хотелось бы встретиться, поболтать — пусть даже разговор, как обычно, перешёл бы в спор, — и выпить чего-нибудь крепкого. Но он уже давно не на материальном плане. И я не знаю, когда загляну в Астрал снова.

Что на дне трещины? Подземные пещеры — вот что. Говорят, они пронизывают весь континент сетью ходов и полостей, о которых поверхность не подозревает. А вот что в них водится... Этого не знает никто кроме самых смелых дроу. Я бы предположил, что глубина прячет в себе нечто древнее, возможно — кого-то из магов Федерации, пережившего собственную смерть. Или что похуже. Но гадать можно бесконечно. Истина, как всегда, лежит на дне и не просится наружу.

Мы вернулись в Биньямин засветло, с трофеями и без потерь. Паладины благодарили меня, хлопали по плечу, звали с собой в Монсур — там у них орден, и, кажется, они решили, что такой полезный писарь им пригодится. Я отказался, сославшись на дела. Сами-Фуркан не место для будничных посиделок, и хотя я отлично умею избегать опасностей — а в этот раз мне даже не пришлось колдовать, — я знаю, что второй визит может сложиться иначе. Пустыня не любит, когда тревожат её мёртвых. А трещина — и подавно.

В книгу я внёс короткую памятку: «Сами-Фуркан: старые магические круги ещё активны, особенно в восточной части. В подземелья — без крайней нужды не лезть. Трещина тянется до горизонта; вероятно, соединяется с глубинными пещерами. Аль-Маййит — обходить». И, подумав, добавил: «Нико не полез бы. Пожалуй, лучшая характеристика». Последнее — с улыбкой, но и с долей тоски. Иногда хочется, чтобы старые друзья были ближе, чем по другую сторону мира живых.

Размышления после увиденного

Я сижу и пытаюсь собрать воедино всё, что видел за эти дни. Султанат — место, которое держится на хрупком равновесии, и чем дольше я здесь, тем больше замечаю трещин, невидимых с первого взгляда.

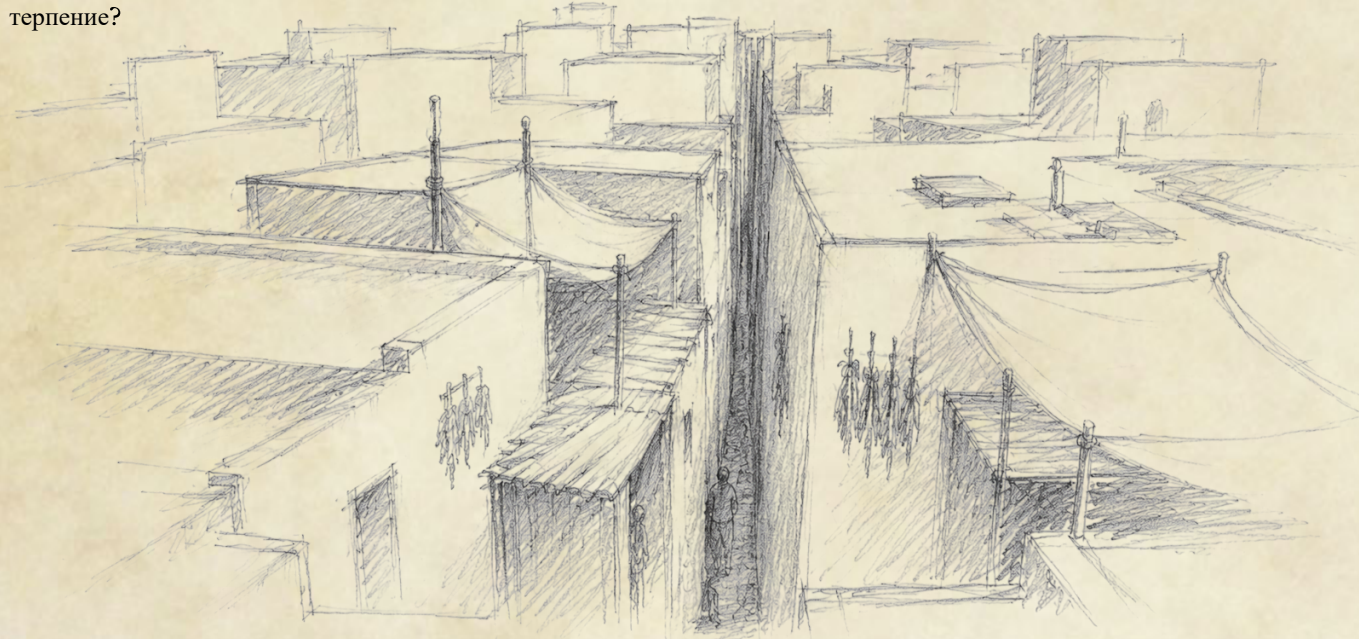
Начну с простого. Женщины здесь не выглядят угнетёнными — они торгуют на рынках, входят в храмы, управляют домами. Но я слишком долго жил, чтобы не замечать разницы. В Дантонске женщина с мечом — зрелище будничное, и никому не придёт в голову спросить, почему она взяла оружие, а не иглу. В Соротуле права полов равны в законах, а не только на словах. Здесь же равенство будто бы подразумевается — но не проговаривается, не закрепляется, не становится правом, которое можно отстоять в суде. Женщина может быть жрицей, и это почётно. Может быть караванщицей, и это уважаемо. Но может ли она стать султаном? Я ни разу не слышал о женщине на троне, и когда спрашивал — осторожно, обиняками, — ответы были уклончивыми до прозрачности. Мне кажется, скорее нет, чем да. И это не закон, а что-то худшее — неписаное правило, которое не нужно доказывать, потому что оно и так впитано с молоком матери.

Бедный люд я видел. В Монсуре, за белокаменными улицами центра, есть кварталы, куда не заходят стражи. Там дома лепятся из обломков песчаника, глины, старых досок, и улочки так узки, что не пройдет и самый худощавый рух. Люди питаются тем, что растёт под ногами — а в пустыне мало что растёт. Коренья, жёсткая трава, из которой варят бурду. Вода дорога. Лекарства дороги. Око Мастары пытается следить за бедняками: жрецы раздают отвары и молитвы, но молитва без толики магии не лечит лихорадку, а ни отваров, ни сил на всех не хватает. Я смотрел на это и думал: а что, если именно здесь — в этих узких улочках, а не в храмах и не в советах — решается подлинная судьба Султаната? Что, если главный вопрос не в том, кто станет следующим султаном, а в том, сколько ещё поколений детей с глазами стариков вырастет, прежде чем эта земля исчерпает их терпение?

Рабство. Я не видел его прямо. Никто не выставял рабов на рынке, где я покупал шоколад. Но я слышал достаточно, чтобы понимать: оно есть. В разговорах караванщиков, когда они думали, что я уже сплю. В оговорках султанских писарей. В том, как быстро меняли тему, стоило мне спросить о дикарях. Здесь их считают не совсем людьми — тех, кто живёт в пустыне и молится духам, а не Мастаре. И я думаю: а что, если это отношение — не злоба, а страх? Страх перед теми, кто сумел приручить то, что горожане только задабривают? Дикари не строят стен. Они не запираются от пустыни. Они живут в ней — и выживают. Может быть, рабство здесь — извращённая форма признания: признания того, что дикарь в чём-то сильнее, и от этого хочется поставить его на колени?

А чёрные рынки? Я не искал их специально. Если есть запреты — а запреты здесь есть, — значит, есть и те, кто их обходит. И чем дольше я думаю об этом, тем чаще возвращаюсь к одному и тому же слову. Аль-Карим. Я слышал его трижды. В караван-сараях, когда двое смолкли при моём приближении. На привале у паладинов, когда они говорили о верном наведении. И теперь оно вертится у меня в голове, как песчинка, которую не вытряхнуть из книги. Имя? Название? Часть фразы, которую я не знаю? Ответа у меня нет, но я готов поставить всё содержимое своей книги на то, что это слово связано с теневой жизнью Султаната. Возможно, именно эта тень и есть недостающий фрагмент головоломки — тот, без которого картина до конца не складывается.

Бедные кварталы Монсура



Подковёрные интриги — вот что, кажется, заменяет Султанату политику. Гильдии грызутся за маршруты. Жрецы — за влияние на султанов. Адамантова Десница стоит особняком, но и она не вне игры. Караванщики — единственные, кто держится в стороне от склок, но и у них свои счёты. Султаны лавируют между всеми, и я ловлю себя на мысли: а что, если это и есть правление? Не власть, а бесконечный танец, в котором нельзя остановиться, потому что стоит замереть — и тебя сожрут?

И всё же я не могу сказать, что Султанат обречён. Я видел слишком много обречённых мест, чтобы знать, как они выглядят. Здесь же — жизнь. Грубая, неуклюжая, полная компромиссов, но жизнь. И посреди всего этого — пустыня. Она учит договариваться с неизбежным. Может быть, именно она и есть та сила, что удерживает Султанат от распада. Не богиня, не султан, не караванщики. А просто земля, на которой слишком трудно жить, чтобы ещё и воевать друг с другом.

Я сижу и думаю о том, что Султанат, при всех его противоречиях, — место колоссальной истории. Она почти вся погребена под песком, но от этого не становится менее живой. Под каждым барханом, кажется, лежит руина — академии, лаборатории, хранилища магов Федерации, которые когда-то считали себя царями этого мира. Я видел очертания стен, проступающие сквозь песок после сильного ветра; я наткнулся на оплавленные камни, в которых ещё дремала магия — слабая, как пульс умирающего. Многие руины даже не раскопаны. Многие — даже не найдены. А есть ещё демипланы — карманные измерения, созданные магами Федерацией для экспериментов, — и они, по слухам, до сих пор висят где-то на границе реальности, как запертые сундуки без ключа.

О джиннах я только слышал. Караванщики говорят о них шёпотом: могущественные существа, способные исполнять желания. Я подозреваю, что это не духи в чистом виде, а скорее магически созданные создания — или духи, поднятые магией или молитвами дикарей до нелепой силы. Ни одного я не встречал и, честно говоря, не искал. Желания — опасная материя, а слова что ты произнесёшь при джинне — ещё опаснее.

Феи пустыни чувствуют себя здесь вдоволь. Семья Эстиваль — Солнечные феи, горделивые и могущественные — живут в самом сердце песков и, говорят, считают себя истинными наследниками этой земли. Кальерра — их городская родня, мелкие духи-проказники, что-то вроде домовых, бродяжек и плутов, — населяют улицы, подворотни, базары и, кажется, воруют сладости с прилавков. Я видел мельком одного такого в Монсуре: крошечное существо, чем-то напоминающее ящерицу, с блестящими глазами юркнуло в трещину в стене, и продавец шоколада погрозил ему кулаком.

Здесь слишком много всего. Слишком много, чтобы уместить в одной главе. Я даже не пытаюсь. Может быть, однажды — когда я вернусь в эти земли, когда пройду ещё сотню караванных путей и разберу ещё сотню древних рун — я сяду и напишу обо всём, что видел. Но пока — пока я закрываю книгу. Султанат подождёт. Я двигаюсь дальше.

Наверное,
как-то так
я должен
со стороны
выглядеть

